

уже прошли по прошлому и нацеливаются на будущее.

Сейчас в Москве появилась книга А. Янова «Русская идея: 2000 год». Она мало кому известна и, возможно, заслуживает немногим больше, но А. Казинцев поспешил подробно и пространно заговорить о ней. Он нашел, от кого нужно отталкиваться.

А. Янов, преподающий на Западе публицист, движется путем исторических схем. Русская история редуцируется у него до двух навязчиво повторяющихся фаз: реформа, тщетно сляющаяся вернуть Россию в строй европейских государств, — и контрреформа, судорожная тотальная мобилизация против западных либеральных начал. Беличье колесо реформы-контрреформы, по А. Янову, вращается с середины XVI в. до сего дня, ряд контрреформ представлен Иваном Грозным, Петром Первым, Сталиным с открытой вакансией в ближайшем будущем. Единственный претендент на вакантное место нового деспотизма — «русская идея», единственный носитель «русской идеи» — националистический антисемитизм, кроме него, по Янову, на дне этой идеи ничего нет. Ему оказывается тем самым честь, на которую он нигде, кроме как у Янова, не мог бы рассчитывать. Но в чем корень исключительности российской истории? Ведь другие народы тоже ходили путем авторитарных режимов, но не оказались в тупике. В чем причина русского безвыходного колворащения? На это ответов уже не дается.

Яновское упражнение в структуралистской мифологии на почве механистического историзма вызывает вполне обоснованное негодование тех же «патриотов» и дает им ошутить себя защитниками богатства, сложности и самобытности России. Свою нечаянную правоту они, конечно, тут же растрачивают на создание еще более грубой мифологии мирового заговора против России. Так «патриоты» и денационалисты оказываются взаимно правы — и потому взаимно нужны друг другу — как раз в меру обоюдной неправоты.

Национальный вопрос — не технический и не процедурный. Он требует поступка. Владимир Соловьев показал здесь пример благородства, без которого, похоже, главные узлы не развяжешь. «У каждого отдельного человека есть материальные интересы и интересы самолюбия, но есть также и обязанности, или, что то же, нравственные интересы, и человек, который пренебрегает этими последними и действует только из-за выгоды или из самолюбия, заслуживает всякого осуждения. То же должно признать и относительно народов». Из того, что нации могут соблазняться силой, Соловьев вовсе не заключает, что они подлежат роспуску. Это значит только, что и в национальных и государственных вопросах всегда права в конечном счете совесть, а не казуистика.

Человек и нация открыты Целому, потому что только в нем могут осуществиться. В этом смысле русская идея, как всякого другого народа, способно к таковой, — вселенская идея.

Эта архитектура классической мысли о человеке, нации и человечестве оказалась слишком высока для «русифилов» и «русифобов». Между прочим, безобразие этих наименований — тоже, кажется, симптом времени. «Чужие» никак не решатся признать, что

Россия, какова она есть в тысячелетней истории своего народа, духа, языка, являет при всех своих срывах один из мировых опытов вселенской цельности. «Свои» никак не поднимаются до понимания того, что вся миссия России сводится к нашему призванию на наших неповторимых путях вынашивать ту всечеловеческую истину, о которой думал у нас Соловьев.

В. БИБИХИН

## «В одном мгновенье видеть вечность»

Мне кажется, что на наших глазах происходит рождение нового жанра, который можно было бы определить, скажем, как «невыдуманные рассказы о прошлом». Такое название В. Вересаев дал своему опубликованному в 20-х гг. циклу коротеньких, на одну-две странички, рассказов. Однако произведений, впечатлениями о которых мне хотелось бы поделиться, соотносятся с циклом-предшественником, если угодно, как взрослый юноша с мальчуганом.

Особенность «невыдуманных рассказов» в том, что в них нет «типических людей в типических обстоятельствах». Здесь изображены реальные люди в реальных обстоятельствах, характеризующих описываемое в рассказе время.

В основе «невыдуманных рассказов» — воспоминания, но вряд ли их можно отнести к мемуарам. Скорее это — «стоп-кадры» эпохи, которые надо пристально и долго рассматривать, размышлять об изображенном, добавлять к нему опыт последующих событий.

Своеобразие нашего времени в том, что общество ощутило потребность именно в такой форме произведений, как бы прокладывающей мост между статьями публицистическими и рассказами «примысленными», позволяющей органично сочетать факт с его «художественной обработкой», со всем присутствием художественной литературы.

Из появившихся в 1988 г. невыдуманных рассказов мне хотелось бы остановиться на произведениях В. Тендрякова и Д. Гранина, которые объединены общей или весьма близкой тематикой (Д. Гранин «Мимолетное явление», «Огонек» № 5, 1988 г.; Д. Гранин «Запретная глава», «Знамя» № 2, 1988 г.; В. Тендряков «Охота», «Знамя» № 9, 1988 г.; В. Тендряков «На

блаженном острове коммунизма», «Новый мир» № 9, 1988 г.).

Центральными событиями, вокруг которых разворачивается действие рассказа В. Тендрякова «Охота», являются два «проработочных» писательских собрания, на которых присутствует автор, тогда студент Литературного института. Председательствует на них А. Фадеев.

«Обличали безродных космополитов (...)» И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накаленные голоса: «Позор! Позор!» От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невяжато оправдывались («...») Я находился наверху на дубовых хорах. Я издали любовался Фадеевым, его мужественной осанкой, открытым лицом, твердым и неподкупным в эту минуту. Я верил ему».

Обличенные сразу становились изгоями, их старательно избегали, лишали работы и, значит, средств к существованию. Собрание было первым шагом к почти неминуемому аресту. Это понимал и президиум, и сидящие в зале.

Вскоре среди объектов «охоты» появились люди, о которых автор мог составить либо имел свое мнение. Ребята, с которыми он учится, например, Мандель, — в будущем поэт Коржавин, — безвредность, талантливость и «неотмирсагешность» которого видит не только он, но и все сокурсники. И Тендряков даже разочарован. Они — «слишком уж обычны, не лучше меня»... но, заметьте, и не хуже тоже!

Все ли были непонимающими? Пытается объяснить что к чему молодому Тендрякову незнакомец «в кепке с узким лицом и ломко хрящеватым носом»: «...Твоя нация превыше всего, — отвечает он на один из вопросов

автора,— твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая».— «Она выгодна Сталину?» — спрашивает автор у незнакомца.—

«Она выгодна всем обиженным и ободенным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтобы вырвать себе благополучие. Какой политик отказывался от силы? (<...>) Тем более что лозунг времени революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал не безопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней». Понял ли тогда это студент Литинститута? Нет.— «Ты слышишь? Проваливай». Незнакомец разговаривал с глухим.

Но «курс обучения» продолжался. В тот же вечер мимо сидящего на скамейке автора, «рука об руку шли Фадеев и этот... Искин (космополит, только что прилюдно изблещенный Фадеевым.— Я. П.). Судья и преступник — вместе. Праведность и порок — плечо в плечо, в мирной беседе, среди гуляющей публики (<...>) До чего же странен мир».

Не странен, а скорее двуличен, немилосерден, несправедлив. И в этом убеждается автор в тот же вечер, когда люди в синих плащах арестовывают в общежитии Манделя, а позже, на своей квартире, Искина.

С тех пор многое заметно изменилось. Однако, полагаю, что причины сложных межнациональных отношений, проявившихся с особой силой в последние годы, следует искать именно во времени «Охоты».

И о народе. Незнакомец говорит автору: «Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ всякое! Выплескивает из себя и светлое и мутное». Народ — это и почти святая Клавдия и ее дочка Райка, написавшая анонимку на приютившего ее Искина, и тот, кто написал анонимку на Манделя, и по-своему честный Васька Малов, и Фадеев, и его случайные собутыльники. «Народ — всякое». Его можно растлить. Рассказ Тендрякова еще и об этом.

В. Тендряков написал не только высокохудожественное литературное произведение с живыми характеристиками, даже если они очерчены двумя-тремя фразами, но и наполнил его глубоким философским содержанием...

...Если в «Охоте» описывается начало борьбы с «идеологически чуждой» гуманитарной интеллигенцией, то в «Мимолетном явлении» Д. Гранина воссоздан один из последних ее эпизодов. Разделяет время действия этих рассказов 6—7 лет.

В «Мимолетном явлении» также речь идет о писательском собрании, которое должно осудить, заклеить позором М. Зощенко. На встрече с англий-

скими студентами он не пожелал признать себя виновным в грехах, приписываемых ему постановлением ЦК.

Прошло около двух лет после смерти Сталина, но «проработочная машина» работает почти так же четко и безжалостно, как и при его жизни. Автор видит: происходит нечто, подобное расправе, которую учиняют голуби своему подранку. При виде крови эти благостные «символы мира» буквально разрывают его на части.

Подробно описаны «клеимители». Есть убежденные, истовые, верящие и разделяющие спущенное сверху руководящее указание (Кочетов). Есть люди, думающие одно, говорящие другое. Такие всегда, при любом повороте событий, сохраняют благополучие. Например, Друзин, прилюдно клеймящий Зощенко, а в тесном — без «стукача» — кругу читающих наизусть запретных или отвергнутых поэтов. Есть, наконец, клеимители поневоле, по положению, по слабости характера, впрочем, можно найти много «по»... В «Мимолетном явлении» это — К. Симонов, в «Охоте» — А. Фадеев.

И, конечно, важна реакция переполненного зала. Сидят писатели и люди, при литературе состоящие. Все, за исключением одного или двух, не смеют высказать сочувствие или даже не сочувствуют избиваемому. Для большинства важно другое, — как-нибудь обойти Зощенко, — не заметить его.

И все же именно на этом собрании вдруг случается нечто ритуальное не предусмотренное. М. Зощенко — беззащитный, осужденный, уже заклейменный, как будто поверженный, осмеливается оспорить обвинения, высказанные не только сейчас, а много раньше и не кем-нибудь, а самим ведавшим идеологией секретарем ЦК — ближайшим соратником покойного Жданова. Он упрямо не хочет, не может считать себя подонком, трусом (а именно так его характеризовал Жданов). Ему не позволяет чувство собственного достоинства.

И в этом его защита! Пусть она слаба, или даже иллюзорна, но до тех пор, пока человек сохраняет чувство собственного достоинства, до тех пор он — «мыслящий тростник» — не беззащитен. Атрофии этого чувства добивался (и, увы, во многом достиг своей цели) Сталин. Если угодно, это рассказ о величии несломленного человеческого духа.

Кроме внешней фабулы, эти рассказы объединяет и другая тема — прозрение, медленное, дававшееся с трудом, но прозрение. Прозрение, которое сопровождается осознанием своей вины. «Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть», — пишет В. Тендряков в 1971 г., сам написания рассказа. — Теперь я, сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются.

Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари. «С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг?» Прости меня! О том же пишет и Д. Гранин, считая, что его рассказ в какой-то мере есть искупление и своей невольной вины...

Действие рассказов «На блаженном острове коммунизма» и «Запретная глава» происходит на 15—25 лет позже первых. Два, теперь уже ставших известными, писателя встречаются с людьми, стоящими на вершинах власти. Это рассказ В. Тендрякова о встрече (второй) писателей с Хрущевым и другими руководителями страны на правительственной даче — «острове коммунизма», где гостям предоставлено все, включая скатерть-самобранку. Никаких событий в рассказе практически не происходит. Приехал на немывом «Москвиче», в плохом настроении В. Тендряков с женой, бы пропущен на «остров», умаялся, выпил прохладительных напитков, выкупался, погулял, посмотрел на стрельбу по тарелочкам, пообедал и предоставил нам возможность ознакомиться с обеденным меню. И разговоров с Н. Хрущевым у автора не было.

Рассказ в основном состоит из размышлений о Хрущеве, Сталине, интеллигенции, и автор говорит с читателем без экивоков. Н. Хрущев автору откровенно несимпатичен. И в этом своем неприятии его, неприятии, которым буквально дышит любая строчка рассказа, автор, на мой взгляд, не всегда справедлив. Тендряков считает, что даже самое значительное из его действий — разоблачение Сталина — и то было сделано им почти по глупости.

В. Тендряков интересно описывает начало и финал стрельбы Хрущева по тарелочкам — эпизод, которому он придает особое значение. Сперва — серия почти сплошных промахов, после которых незадачливый стрелок всем своим видом являет глубокое огорчение. Затем следует вторая серия — почти сплошные попадания. Автору так и хочется верить в то, что во второй раз обслуга сделала какое-то жульство. Он только не понимает, как это было сделано. По его мнению, Хрущев и впрямь стреляет плохо. Не может, не должен стрелять хорошо! «И даже теперь этот маленький случай для меня — необъяснимая загадка, почти чудо».

Между тем гораздо естественнее другое объяснение. В первый раз Хрущев блестяще сыграл неумеху-простачка, роль, которую он с успехом исполнял целых два десятилетия при вожде. Но как только в это поверили, он показал всем присутствующим, что он далеко не так прост, как кажется. Об этом, кстати, свидетельствует тот тяжелый, настоженный взгляд, который, как заметил автор, незадолго до этого Хрущев бросил на него. Глянул столь

мимолетно, что взгляда, может быть, и не было. Глянул и снова стал добродушным, благожелательным хозяином — каким он на этой встрече хотел показаться гостям.

Быть может, эта вторая встреча имела еще одну цель — сгладить впечатление от предыдущей, на которой произошла приснопамятная ругань интеллигенции — акт, конечно, не делавший чести Хрущеву. Он, надо думать, совершенно серьезно считал, что вместе с занимаемым постом человек получает патент на всеведение, вседозволенность и, главное, непогрешимость. Так повелось со времен Сталина, который был «великим ученым» во всех областях. (Я знал одного видного ученого, слабо разбирающегося в сельском хозяйстве. Но, заняв руководящий пост, он, к удивлению людей, знавших его, вдруг оказался и «крупным специалистом» в этой области.) Справедливости ради следует отметить, что, узнавая про свои промахи (к сожалению, гораздо позже, чем следовало), Хрущев находил мужество в них признаться — качество далеко не всегда присущее людям, а руководителем еще в меньшей степени. (И об этом, заметим, ко времени написания своего рассказа В. Тендряков, разумеется, знал.)

Жесткие, хлесткие слова находил автор для описания репильной интеллигенции, выходящей вокруг первого секретаря, угодливо ему поддакивающей, льстящей, старающейся выслужиться, а заодно, при случае, поддеть соседа. Отнюдь не заботящиеся о том, чтоб «сохранить и в подлости осанку благородства». Это — достойные представители сталинской «творческой интеллигенции».

На этом фоне актами гражданского мужества выглядели реплика М. Шагинян: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба» или жест Валентина Овечкина, демонстративно подхватившего под руку Алигер, заклейменную Хрущевым.

Блестящий рассказ, рассказ-гротеск, рассказ-шарж. И все же он, с моей точки зрения, был бы много сильнее, если бы была чуть более умеренной нетерпимость к главному герою, по отношению к которому В. Тендряков не скупится на эпитеты — «упоенно туп», к примеру. И эта нетерпимость мешала ему, проницательному, честно-му писателю, заметить, что Хрущев был единственным из сподвижников вождя, нашедшим в себе силу и мужество вырваться из этого окружения, сделать то, что он сделал. И по сравнению с развенчанием культа многие, пусть даже нелепые его действия — величины второго порядка малости, как сказали бы математики. Была ведь не только кукуруза в Мурманской области, которую вспоминает Тендряков, или «дело Пастернака», о котором не упоминается; были массовые реабилитации, было начало эры массового

жилищного строительства, был прорыв железного занавеса... и не было психушек и диссидентов.

Оценивая деятельность Хрущева, надо ее сравнивать с деятельностью его предшественника Сталина и, главное, с его преемником Брежневым. Но все это — предмет особого разговора. Сейчас важно другое, — «Блаженный остров» — рассказ многоплановый, заставляющий о многом думать, и за это мы должны быть Тендрякову благодарны...

«Запретная глава» содержит описание совершенно необычной ситуации. Второе лицо в государстве — председатель Совмина СССР — соглашается встретиться с писателем Д. Граниним для разговора о трагической ленинградской эпопее, участниками которой были оба. Один — в качестве лица, наделенного почти неограниченными полномочиями, другой — в качестве бойца.

Разговор, сугубо неофициальный, без софитов, без сообщения в газетах и даже без А. Адамовича — соавтора по «Блокадной книге», и уж, конечно, без магнитофонной записи, состоялся. Но был он, безусловно, не таким, на который рассчитывал каждый из собеседников. Что ожидал от разговора Гранин? Видимо, и обсуждения тяжких вопросов, мучивших не только его, блокадников-ленинградцев, но и всех думающих граждан нашей страны. Можно не сомневаться, что собеседник, человек большего масштаба и государственного ума, отчетливо понимал, что такого рода вопросы ему могут быть заданы. Как поступить, если у Гранина не хватит «такта», он окажется «непонятливым»? А ведь есть еще и внешний аспект разговора, который неизбежно даст знать о себе. И Косыгин долго колеблется, прежде чем согласиться на встречу. И все же на нее решается.

Оказалось, что два ленинградца — участники одних и тех же событий, два члена партии, следовательно, единомышленники — все-таки живут, действуют и мыслят в различных, пересекających плоскостях, и «правды» у них не совпадают. Не может постичь, принять Гранин точку зрения Косыгина, которую ему после беседы пытается пояснить немой ее свидетель Б-ов. Надо думать, не постигает и Косыгин «правды» Гранина.

В течение четырех десятков лет Косыгин был в «высших эшелонах власти». Ему приходилось часто встречаться со Сталиным, Хрущевым, Брежневым. Вознесенский, Кузнецов, Попков и другие — люди не только близкие по работе, но и земляки, друзья. Неужели у него не возникали никакие вопросы, трагические недоумения, когда безвинных, хорошо известных ему людей расстреливали? Неужели он, сделавший так много для спасения Ленинграда, не понимал, что на совести

Сталина, Жданова и других судьба сотен тысяч погибших от голода, холода, бомбежек ленинградцев? Всё понимал, всё или весьма многое знал. Почему же даже сейчас, когда вождя давным-давно не было, он не позволил себе сказать это? Рецидивы страха? Не думаю, чтобы это было главным, определяющим его поведение. Маловероятно также, что Косыгин счел своего собеседника недостойным доверительного разговора. Скорее всего, он — дисциплинированный функционер — не хотел (или не захотел) нарушить этику и идти против имевшего место в то время мнения о том, что если уж нельзя полностью передать забвению XX и XXII съезды, то, по крайней мере, о них без нужды не вспоминать. И, быть может, даже не согласный с этим мнением, Косыгин не чувствует себя вправе сообщать иную, отличную от общей точку зрения. В конце концов, рассуждает он, — мы победили и это главное! А писателю Гранину надо рассказать, что именно и как мы (именно мы, а не я — только винтик) делали для спасения Ленинграда. На первом месте — Дело, а люди, люди — это второй план. Косыгин, отчетливо помня цифры и технические детали, забыл (или делал вид, что забыл) то, за что его ценили ленинградцы, свои «человеческие» поступки. Он, думается, намеренно в разговоре опускал их — не считая это важным. Вспомнил, «идя навстречу» писателю лишь забавный эпизод с извлечением чекушек водки из разрушенной квартиры отца. И Гранин не скрывает от нас своего разочарования. От всего разговора осталось лишь то, что было, как говорят, за кадром.

Сравнивая два рассказа Гранина, мы замечаем и две противоположные манеры поведения. М. Зоценко не соглашается быть «винтиком». Косыгин и Симонов даже в более легких ситуациях согласны подчиниться Системе.

И еще, «Запретная глава» — это рассказ об одном из крупных деятелей Системы. Нарисован штрихпунктирный портрет одного из выдающихся ее представителей, пользовавшегося, заслуженно, большим уважением. «Трудяга» — таким он виделся не только Гранину, но и всем нам, его современникам. Человек в период звездного застоя — из всех сил пытающийся «вытащить воз на дорогу». Насколько я знаю, это первое художественное изображение деятеля такого ранга (причем незаключенное) в нашей литературе. Интересно, что при чтении этого рассказа невольно вспоминаешь Онисимова, главного героя романа А. Бека «Новое назначение». Сумел Бек установить типические черты одного из главных лиц Системы...

С нашей точки зрения, четыре рассказа, о которых шла речь, являются

примерами нового жанра — «невыведенных рассказов».

Рассматривая их структуру, мы замечаем, что к отмеченным уже выше «атрибутам» жанра следует добавить и следующие, неизменные.

Это — чувство достоверности, которое возникает у читателя, когда он твердо уверен, что в угоду «красивости» автор не прибавит, не убавит какую-нибудь деталь. И еще ощущение сопричастности к происходящему в рассказах.

Последним двум дополнительным требованиям также удовлетворяют рассказы Гранина и Тендрякова. Я, читатель, как бы присутствую при «проработке», встречаюсь на «острове коммунизма» с высшим эшелонном власти, сижу немим соучастником бе-

седы у стола с молчащим белым телефоном.

При выполнении таких условий «невыведенный рассказ» становится сильнее суммы своих слагаемых — художественной прозы и публицистики.

В рассказах различно соотношение «публицистики» и «художественности», различна и манера письма. Но все они — произведения, отмеченные высоким мастерством. Мы можем поздравить себя с тем, что копилка советского рассказа пополнилась произведениями, достойными быть включенными в его антологию.

Яков Моисеевич **ПАРХОМОВСКИЙ**,  
доктор технических наук, профессор,  
лауреат Государственной  
премии СССР

## «...Во мне горит свеча»

Любая публикация — это приглашение к диалогу, к соразмышлению. Диалог может развиваться как согласие, может — как противостояние, а может быть совместным продвижением к решению тех проблем, которые в это время оказались равно значимы и для художника, и для читателя. И тогда важен не только ответ — каким быть музею девятнадцатого века, воспроизводящему духовную атмосферу прошедшей, но столь близкой нам эпохи (см.: Л. Бежин «Отражение без зеркала», № 4), но и сам поиск путей к ответу, та дорога, по которой можно и нужно пройти. Откликнулся человек, идущий по этой дороге...

Сегодня день для меня такой радостный... не удивляйтесь, что так начинается письмо неизвестным вам человек.

Не написать я не могла. Но начну с самого начала.

Утро обещало быть жарким и ни единое облачко не предвещало каких-либо перемен, но что-то необычное уже звучало во мне. Если вы бывали во Пскове, то поймете, что каждый уголок здесь таит загадки, причем каждый раз новые. А может, я как художник и фотограф читаю их, не знаю. Вообще-то по профессии я дизайнер и работаю в «городской архитектуре», а зовут меня Татьяной.

Так вот, по пути на работу я заметила, что птицы пели как-то особенно, гуще, что ли, а люди, попадающиеся мне навстречу, казались улыбочивыми, и всем хотелось пожелать здравствия...

Работа не клеилась — жара одолевала, и я решила добыть наконец-то журнал, который давно искала по

совету друзей. Искать долго не пришлось — и это было опять-таки удачей. За «обед» я проглотила бунинские «Окаянные дни» и отложила журнал. Надо сказать, что «Лит. обозрение» я впервые держала в руках и о существовании его не подозревала.

Что-то не давало мне покоя... Я опять начала перелистывать страницы, почти машинально, пока взгляд мой не выхватил «... гуманитарное веяние девятнадцатого особенно передается нам в том, что можно было бы назвать духовным устройством человека, общностью и освоенностью его духовного мира...» и дальше, дальше...

Буквально накануне я писала письмо приятелю, в котором пыталась выразить те же мысли, те же чувства, то же отношение к веку прошедшему, — зародившиеся во мне во время работы над музеем Мусоргского в Наумове.

Вот и музей закончен три месяца назад, но все во мне настолько живо и я не знаю, куда со всем этим деться...

И тут ваша статья.

Я читала ее по-смешному — сначала выхватывая абзацы, потом читая ближе к концу и до самой точки, а затем уж с самого начала... В это время началась такая стихия! Сумасшедший ливень, гром, стук, звон, скрип — всё это ворвалось в распахнутые окна — и было еще одним чудом. Я никого не слышала, ощущала только грозу и то, что читала... вот я уже рядом с вами в Остафьеве, заглядываю в эти окна, прислушиваюсь к запахам, звукам... Мне это до боли близко и знакомо. Я очень благодарна вам за все это — за то, что есть-таки люди неуспокоенные — это вы, за то, что дали мне вернуть саму себя в то самое состояние

души, которое приподнимает и помогает жить и чувствовать во всю силу!

Меня сейчас захлестывают эмоции, вы уж простите столь необузданную радость.

И еще у меня к вам просьба, — если ваша идея создания музея не канет в «никуда», сообщите, кто и когда будет над ней работать. Я бы хотела принять хоть какое-нибудь участие как дизайнер и человек, уже влюбившийся в вашу идею и, наконец, имеющий малюсенький опыт «рождения музея». Правда, здесь я была всего лишь исполнителем, т. е. к самой структуре музея отношения не имела, проявлялась лишь в такой работе, как форма-подача графического материала, рукописные копии, графические фотографии, портьеры, декоративные кисти, частичная реставрация мебели, — работа, в общем-то не требующая особой фантазии, а только терпения, душевных сил, любви к тому, что ты делаешь, ну и, конечно, хороших рук.

Ежедневно, работая в усадьбе и наблюдая за «москвичами», я ловила себя на мысли — «а я бы сделала иначе...». Приходилось сдерживать себя, дабы избежать лишних конфликтов и не обидеть заслуженных людей. Успокаивала себя тем, что, может, я чего не понимаю. Но мне очень хотелось музея живого, а не традиционного. Часто фантазировала, будила воображение...

Однажды, было далеко за полночь, мы работали, каждый был занят своим делом, и вдруг отключили свет... Усадьба погрузилась в таинственную тьму... Прикрывая ладонью трепетный огонь свечи, я пошла из комнаты в комнату... ожили отраженья в зеркалах, уже иначе смотрели лица с фотографий — Стасов, Даргомыжский, Бородин... и можно коснуться клавиш старинного рояля, — первого инструмента юного Моденьки. Во мне вдруг зазвучала музыка, музыка того, девятнадцатого...

И всего-то нужно было — погасить свет, чтоб перенестись из 20-го в век 19-й. Тьма растворила стеклянные витрины и как бы раздвинула пространство, а отраженья свечи скользило от краешка стула до дрожащей хрустальной подвески, от портрета к портрету... А за окном хлопьями падал снег...

До сих пор во мне горит эта свеча, когда тише, когда сильнее.

Потому и пишу вам, и тороплюсь отправить написанное, чтоб не передумать — такое уж свойство характера — боязнь побеспокоить занятых людей.

Очень благодарна вам за терпение, а еще больше за безумную радость знакомства с вами.

Т. ДАНИЛОВА

Псков